



А. С. Серафимович

Змеиная лужа
Весёлый день
Юная армия

Александр Серафимович
Серафимович

**Змеиная лужа. Весёлый день.
Юная армия.**

Содержание

Змеиная лужа0005
I0005
II0019
Весёлый день0032
Юная армия0040

**Серафимович
Александр Серафимович**

Змеиная лужа

I

Хата стояла на взгорье. Выше нее проходила ласковая песчаная дорога, по которой беззвучно катились колеса и так же беззвучно вязли лошадиные копыта. А еще выше темнели вишневые сады, поднимаясь до самого гребня, а за гребнем потянулась степь без конца и края, только не видно было ее снизу.

Над хатой желтел глинистый обрыв. И хата белым пятном, и обрыв желтизной отражались в ставу, который неподвижен, как стекло. Отражались в нем на той стороне погнувшиеся камыши и лозняк, и старые прибрежные раскоряченные вербы, на которых ветки, как пальцы, торчали во все стороны из макушки толстого дуплистого ствола.

За плотиной ровным, неизменным шумом шумела мельница, у которой видна только крыша. По колено в воде неподвижно часами стоял красный скот; возились утки, ныряя одной головой, и долго выбирали что-то в тине,

пошлепывая плоскими носами. На берегу неподвижно и важно белели, стоя на одной ноге, гуси. Было тихо, спокойно и сонно, как будто кто-то важный отдыхал и не тревожили его мирного отдыха.

Возле хаты маленький, тесненький дворик, тоже засыпанный песком, — сверху с дороги сыпался. И чего только тут не понастроили: и маленькая конюшня под взлохмаченной соломенной крышей, и плетневый, обмазанный глиной сарайчик, и курятник, и заката для свиней. Тут же ходили куры, разрывая песок; хрюкали свиньи; лениво валялись в растяжку собаки, и, свесив губу, дремала, покачиваясь, возле дрог старая лошадь. Ступить негде было в тесноте, да некуда было дворику податься, — сверху дорога теснила, снизу обрыв прижимал.

В хате, видно, никого не было, — молча смотрела она сизыми окнами, только перед чернеющей щелью неприкрытой двери столбом толклись назойливые мухи.

За жердевыми, всегда открытыми воротами кто-то тихо поскрипывал колесами, так тихо, что собаки не шевельнулись. Вдруг

услышали, с отчаянным лаем выскочили и сейчас же замолчали, виляя хвостами и умильно улыбаясь: в ворота въезжал, свесив вожжи, на бланкарде хозяин, с черной густой подстриженной бородой, острыми глазами, плечистый, в картузе.

Белолобая белоногая рыжая лошадь осторожно, не цепляя, ввезла в ворота бланкарду и, раздувая ноздри, легонько заржала: дескать, тут я, овсеца бы! В дворике совсем стало негде повернуться.

— Эй, кто там? — сказал хозяин крепким басистым голосом, слезая.

В ответ только курица, квокча, что-то проговорила да старая лошадь чуть приоткрыла глаз, около которого вились надоедливо мухи, и опять задремала. Из-за плотины доносились звуки валька.

— Все разбежались...

Хозяин скинул кафтан и стал распрягать белолобого, а рыжая собака, с косматой мордой, с отяжелевшим от орешков хвостом, всё улыбалась, прижимая уши, как будто хотела сказать: «Ну, вот и приехали...». И терлась о ногу лошади, которая недовольно переступа-

ла.

Снизу с пруда кто-то по-детски свистнул, и собаки опрометью кинулись в ворота, а тонкий голосок прокричал:

— А тю-тю-тю-у-у!

Собаки с лаем погнались по дороге хрюкавших и поднявших уши свиней. Из-под обрыва показался мальчик лет восьми с острыми, как у отца, глазами в ситцевой, без пояса, рубашонке, на которой сплошь налипла черными комьями присохшая грязь. Он держал в согнутых руках странно выделанные черные фигурки.

— Куда все делись? — спросил отец, не глядя и продолжая распрягать.

— Матка за плотиной белье банит. Гашка пошла на мельницу зерна курам взять, а Иван в кузню — обтянуть колесо, а Нюрка с маткой. Батя, видал — я наделал? Во — Белоногой, во — Барбос, а это Петька наш, а это Кабанец...

Мальчик торопливо сел возле отца на песок и стал расставлять фигурки, вылепленные из грязи. Отец, топча песок большими, пахнувшими дегтем сапогами, продолжал рас-

прыгать, не обращая внимания на мальчика.

— Это — Белоногой. Вишь, ноги ему белоглинкой натер, а бока красноглинкой, чтоб рыжий стал, а вместо глаз по просяному зернышку вставил, а хвост из метелки с камыша... А Петьке сизое перо вставил... Батя, отчего у петухов сизые перья в хвосте да у селезней, еще? А это наш Барбос. Видал, ему орпьев в хвост настроил. Он завсегда в орпьях. А хвост из овчинки пришил. Бать, отчего с собак овчину не дерут на тулупы? А теперича я сделаю нашу хату и двор и всё, что в нем. У тебя хозяйство, и у меня хозяйство. Буду, как ты, извозничать. А платить мне будут? Сколько? На вокзал — сорок; мешок муки отвезть — тридцать копеек. Две лошади заведу, на одной — ездить, а другая — отдыхать. Батя...

— Чего ты тут под ногами елозишь? Это что — рубаху всю опакостил в грязь? Ишь чем занимается... Ты бы дело делал. Вон Белоногому давно овса пора дать. Ах ты, свинячья требуха!..

И стал топтать большими, толстыми, как глыбы, сапогами расставленные фигурки, а

мальчика крепко и больно схватил за ухо. Мальчик отогнул от боли голову, увидел, как под сапогами всё его хозяйство превратилось в кусочки засохшей грязи, побледнел как стена, весь затрясся, куснул отца за корявую мозолистую руку, вырвал сразу опухшее ухо и так пронзительно завизжал, что куры беспокойно заклокотали, старая лошадь опять приоткрыла глаз и подергала губой, а собаки повиляли хвостами, потом кинулся бежать, захлебываясь от злобы и слез.

— Гаврилка, куды т-ты? Задеру как Сидорову козу!..

Но мальчишка летел без оглядки, опустился по заворачивавшей к плотине дороге, пролетел, продолжая визжать, по плотине и, нагнув голову, ринулся в заросли. Гибкие лозины хлестали его по лицу, размытые весенней водой корневища рвали босые ноги, а он всё бежал, перепрыгивая, пробираясь сквозь попадавшиеся камыши и осоку, которые резали лицо и руки. Иногда попадал в колдобины, наполненные водой и грязью. Наконец, задыхаясь, остановился.

Сзади, из-за плотины, сквозь шум мельни-

цы доносились удары валька. Сквозь лозняк и камыш краснел на той стороне глинистый обрыв, виднелся дворик, две распряженные лошади, дроги, бланкарда, а когда опустил глаза, увидел всё это в ставу: и обрыв, и дворик, и лошадей, и белую хату, и всё было такое отчетливое, яркое, с мельчайшими подробностями, что он не знал, где настоящее, действительное, не то наверху, не то внизу. Может быть, снизу тоже настоящее, живое. А то отчего же эта опрокинутая хатка такая белая, белая, как кипень, как будто matka только что побелила ее мелом?

Гаврилка долго стоял, смотрел, вытянув шею; вода пропадала из глаз, а вместо нее голубело небо, белели гуси, стоял по колено в воде красный скот, — только всё вверх ногами. Но когда вспугнутые утки, побрякивая, проплывали, по всему ставу побежали прозрачные, как стекло, морщины, и опрокинутое небо, и обрыв, и хатка заколебались и помутнели.

Тогда Гаврилка опять вспомнил, как его обидели, заскулил, схватил засохший ком грязи и пустил в свой двор. Ком долетел толь-

ко до середины става, упал, и по воде побежали торопливые круги. А Гаврилка, утирая кулаками слезы, размазывая грязь по лицу и подсмаркивая, пошел прочь от става.

Среди зарослей лозняка и камышей попадались прогалины с лужицами, а в них такая теплая вода, точно кто пролил еще не остывший кипяток. Гаврилка с наслаждением влез босыми ногами и стал болтаться в горячей жидкой грязи и воде. Да вдруг вспомнил, что тут змеиное место, — в прошлом году два теленка сдохло, змеи укусили.

Гаврилка разом прыгнул на сухое место и встал неподвижно, вытянувшись на цыпочках, с хворостиной в руке, карауля, чтобы не ужалила за босые ноги.

Когда муть улеглась, стало видно в посветлевшей воде, как торопливо по краям извилисто плавала маленькие змееныши, испуганно выбираясь на скользкий мокрый берег, — много их тут выводилось. А траву кто-то шевелил убегающими зигзагами.

Гаврилка остро вглядывался и вдруг увидел серую большую змею со стрельчатой головой и черной извилистой полосой на спи-

не. Она осторожно пробиралась из камышей и шевелила траву возле лужи.

Гаврилка хватил ее хворостиной. Змея мгновенно свернулась спиралью и закачала головой, блестя раздраженными глазами, раскрыв пасть, шипя и показывая раздвоенный язычок. Гаврилка стал беспощадно хлестать ее, отскакивая при малейшем ее движении, чтоб оберечь ноги. Змея, всё так же шипя и показывая язычок, быстро поползла в траву. В последний момент Гаврилка нагнулся, неуловимым движением, с похолодевшим от страха затылком схватил исчезающую в траве змею за хвост, выдернул, как веревку, и быстро завертел в воздухе, выпучив глаза, отодвигая назад голову и оскалив зубы.

Змея делала отчаянные усилия свернуться и схватить его за палец, но от быстрого движения летала вокруг руки, вытянувшись, как палка. Всё так же вертя, Гаврилка что есть силы хлопнул ею о землю, и она осталась неподвижной. Потом разбил ей голову сухими комьями. Сел на корточки и стал разглядывать, вороша хворостинкой.

— Замучила, проклятая. Ага, теперь не бу-

дешь!

Он долго рассматривал её спину, по которой кто-то вычертил странный черный узор.

— Как нарисовано! Вот-то чудно!..

Потом стал опять ловить. Убил одну большую и штук пять маленьких. Этих он просто засекал хворостиной.

Пока возился, солнце перевалило за вербы и дробилось золотом лучей сквозь ветви. Мельница по-прежнему шумела. На той стороне пригнали стадо; слышно было щелканье бича, шум копыт в воде, мычание.

— Гаврилка-а!.. — донеслось с того берега. — Гаврилка-а, иди вечера-ать!..

«Ага, что!.. Покричи-ка, а вот не пойду... — думал Гаврилка, стоя около убитых змей, — есть, дюже хочется».

Прислушался — никак коровы идут с луга. Гаврилка осторожно выбрался из зарослей, похлопывая хворостиной по траве, чтоб не наступить на змею. Коровы важно шли домой друг за дружкой, медленно прожевывая жвачку.

— Буренка! — радостно позвал Гаврилка.

Черная с белой отметиной корова остано-

вилась, повернула голову на знакомый голос, глянула выпуклыми блестящими глазами, от-вернулась и опять важно пошла, медленно жуя жвачку.

— Буренушка, дай молочка, есть хочется, кожа лопается.

Он подбежал к корове и придержал за рог. Та остановилась, не оборачиваясь и жуя. Гаврилка припал губами к переполненному вымени и стал сосать молоко, которое бежало у него по щеке и подбородку. Корова стояла смирно, потом переступила ногой, отчего Гаврилка полетел на траву, и пошла.

Гаврилка встал, вытер губы.

— Ничего, Буренушка, спасибо, вот хорошо... повечерял.

Он опять пробрался к ставу, сел под ветлой и стал смотреть. Стадо угнали. Ушли и гуси, только утки продолжали торопливо шлепать широкими носами в тине. Да хата висела, опрокинувшись в воде, сначала белая, потом стала розоветь всё больше и больше; видно, солнце садилось за лугом, оставляя красную зарю. По воде легли длинные тени.

Гаврилка сидел, охватив колени, и глядел,

не спуская глаз, как зачарованный. Эти меняющиеся световые пятна отражения, то белые, то розовые, то вдруг подернувшиеся тонкой фиолетовой дымкой заката, не давали оторваться глазу. Перед мальчиком точно звучала музыка меняющихся цветов.

Закат погас, и всё погасло и в воде, и на земле, и отражения повисли, темные и смутные, а в небе зажглись звезды.

— Гаврю-у-шка-а!.. Иде ты, пострел, запропал?.. Иди домой, а то драть будут.

«Ага, покричи, покричи... Не пойду, вот и всё...»

Слышны голоса в дворике: то с хрипотой бас отца, то беспокойный, испуганный голос матери, то Ивана, старшего брата, то звонкий Гашкин голос.

— А може, утонул.

— Но-о, утонул! Вот придет, я его прихворощу хворостиной.

— А може, на слободу побежал, к дяденьке?

Ночь густеет. Вода как вороново крыло. Отражения почернели и слились с темнотой. Тот берег стоит смутной стеной, и не видно

ни хаты, ни двора, ни вишневых садов за дорогой, — всё темно, пусто, молчаливо: должно быть, все спать легли.

Спокойные, ослабленные расстоянием и от этого мягкие, навевающие дремоту удары церковного колокола доносятся с того края слободы... Три, четыре... семь... девять, десять!..

Сонно лают далекие собаки. Спать!

Гаврилка подымается, да вдруг вспоминает про убитых змей, минуту колеблется, потом смело лезет в лозняк, чутьем находит похолодевшую лужу, бьет перед собой палкой, чтоб разогнать гадов, ощупью поддевает дохлых змей на палку и берегом, потом молчаливой плотиной воровски пробирается домой, держа перед собой перевесившихся на палке змей.

Во дворе тихо; спят. Собаки молча ластяются; в конюшне звучно жуют лошади, в сарае вздыхает корова, а под дрогами на разостланной полсти храпит отец.

Гаврилка аккуратно развешивает дохлых змей на дрогах, над отцом, пробирается на сеновал и сладко засыпает. И сейчас же к нему

приходят странные сны. Снится ему, будто лошади у них зеленые, с красными глазами, а собаки голубые и будто у отца на лице черный извилистый узор, как на змеиной шкуре. И будто лошади покраснели, как хата на вечерней заре, а с отца черные узоры поползли и стали извилисто ползать по всему двору, забираясь на дроги, на плетни, на дорогу — деваться от них некуда. И Гаврилке стало страшно. Он стал решать, в яве это или во сне, и закричал: «Мама!..»

Открыл глаза, щели золотятся от яркого солнца — уже утро. И сразу догадался, что не он кричит, а во дворе голос отца сердито:

— Ишь, видал, чего наделал! Дохлых змеев по всем дорогам навешал. Ну, пуцай только придет, я ему кожу поштопаю.

А Гаврилка слышит, сладко заводит глаза и сквозь улыбку отдается неодолимому детскому сну.

Разыскали Гаврилку только к обеду, когда солнце стояло прямо над прудом, до самого дна погружая в него ослепительные лучи.

Иван, старший брат его, которому на будущий год идти в солдаты, полез доставать сена для дрог — ехать на шахты за каменным углем — и увидал Гаврилку. Взял за ухо, вытащил во двор:

— Вот он, прятальщик... А-а, попался!

Гаврилку ослепил солнечный свет, нестерпимо яркие белизной стены хаты, пятна кур, собак, вишневых садов, как будто всё это видел в первый раз, — и ласточки, чиликая, носились над двором.

— О-ой, пусти, а то укушу!..

Вышла мать. Глаза у нее набрякли, — целую ночь проплакала, боялась, не утонул ли Гаврилка. Отца не было.

— Ну, иди в хату, поешь; свиные полдни, а он вылеживает. Вот погоди, придет уж отец, он те даст встрепку! — сердито говорила мать, а Гаврилка чувствовал, как она его любит, боится за него.

Она пошла на речку с бельем — полоскать, ведя маленькую Нюру, которая держалась за подол, а Гаврилка юркнул в хату. На чисто выскобленном столе миска горячих щей. Гаврилка жадно хлебает, проголодался, а сам пялит глаза по стенам, — все стены в картинках, которые он поприлепил, которые он собирает в сору около лавок, возле церкви, на большой дороге. Тут и газетные иллюстрации, и крышки с конфетных коробок, и брошенные, затоптанные в песок рекламные картинки, которые он тщательно собирал, расправлял, очищал от грязи и налеплял на стену.

Потом стал глядеть на синих петухов, которых мать понарисовала синькой на печке. Они были куцые, с двумя палочками вместо ног. Мать в чистоте держала хату, всё было вымыто, выскреблено, вычищено, и стены я печь ярко выбелены мелом.

Гаврилка долго смотрел на петухов, сорвался, бросил ложку, достал с полки завязанную в узелок синьку, развел ее слюнями и стал подрисовывать петухов.

— Разве у них такие ноги? — говорил он,

сидя на корточках перед петухами. — У них лапы. А позади в хвосте перья вон какие. Это только у мельника-козла кот Васька — куцый, да и то он сам ему отрубил хвост.

И он стал пририсовывать петухам великолепные хвосты, похожие на изогнутые серпы. Потом полез в угол, достал красной глинки и стал протирать ею бока петухам.

— Разве петухи синие? Наш Петька весь красный, как огонь. Сизые перья у него только в хвосте да на шее. Да разве петухи бывают такие малые? Они всегда больше курей, а это цыплята.

Когда с речки воротилась мать, усталая и разморенная, всплеснула руками, — вся хата, стены, печка, была в огромных красных петухах с великолепными синими изогнутыми перьями в хвостах.

Мать ахнула, а вечером отец больно отодрал Гаврилку.

Семья извозчика жила крепкой трудовой жизнью, как и все в слободе. Земли у него не было, а держал две лошади, возил дачников с вокзала и на вокзал, купцов в город, уголь с шахт. Всё собирался прикупить третью ло-

шадь, да не хватало.

Иван ходил работать по экономили, жил и в городе работником. Двенадцатилетняя Гашка нанималась на огороды на полку, работала по садам, а на будущую зиму решили ее отвезти в город, сдать в услужение.

На Гаврилке лежала забота о лошадях: насыпать овса, дать сена, напоить вовремя. Иногда и он возил дачников на вокзал. Только маленькая двухлетняя Нюрка ничего не делала и всё тянулась за подолом матери. Но как ни бились все, еле-еле сводили концы с концами, и Гаврилка знал, что оттого отец его хмур, неразговорчив, с тяжелой рукой, а мать худая, костлявая, как загнанная кляча. Впрочем, Гаврилка не думал об этом, а просто тянулся к работе, как все, а в свободную минуту бегал и играл, забывая обо всем.

Раз сидели всей семьей посреди двора и ужинали на разостланной чистой дерюжке под звездами.

Шумела мельница.

Отец облизал деревянную ложку вытер корявой рукой усы и бороду, положил ложку на край глиняной чашки и сказал:

— Иван, слышь, никак без того не обернемся, не иначе — придется тебе идтить на шахты.

Иван тоже захватил в рот всю ложку, тщательно облизал ее, вытер рукой безусые губы и сказал:

— Ну-к, что ж, идтить так идтить!

Мать горестно утерла слезинку, а отец сказал:

— Идтить тебе в солдаты, останусь без работника, никак не обойтиться без третьей лошади. Беспременно надо заработать на лошадь, а сказывают, ноне на шахтах по два с четвертаком дают, недостача народу.

— Работа-то чижолая, — сказала мать также горестно. Да не договорила, отец прикрикнул.

А работа в шахтах действительно, должно быть, была тяжелая. Когда через два месяца вернулся Иван, Гаврилка ахнул, не узнал брата. От здорового, краснощекого парня остались на ввалившемся скуластом черном лице одни огромные глаза, сверкавшие белыми белками. Гаврилка не мог оторваться от этих сверкавших огромных белков. С тех пор и на-

чалось. Взял уголек, пошел и нарисовал на печке глаза с огромными белками и скошенными зрачками.

— Ты чего это тут!.. — закричала мать, шлепнула полотенцем. — Тьфу! — Выгнала из хаты и торопливо забелила мелом огромные глаза, которые безуданно следили за ней скошенными зрачками.

Тогда Гаврилка стал рисовать угольком глядящие на всех глаза на белых стенах хаты, снаружи, на дверях, на окнах, на дрожинах дрог, на всех досках, какие попадались во дворе. Отовсюду, куда ни повернись, скосившись, глядели глаза с огромными белками.

Гаврилку гоняли, мать поминутно всюду тряпкой стирала глаза, а отец и Иван трепали за уши. Наконец взбешенный отец так отодрал мальчика, что тот два дня не мог подняться.

И Гаврилка перестал рисовать дома. Зато со всех заборов соседних дворов, с дверей, с ворот, со ставень, скосившись, неподвижно глядели бесчисленные глаза. Глядели глаза и на мельнице с дверей, со сруба, а мельник, выдернув из воза кнут, долго гонялся за Гав-

рилкой при хохоте и улюлюкании помольщиков.

— Ну ладно, я ж тебя уважу!

Гаврилка убежал на змеиную лужу, перебил и разогнал змей и целый день, вытаскивая со дна черную грязь, подсушивал, мял и лепил из нее.

А к вечеру помольщики и все проходившие мимо мельницы хватались за бока и покатывались от неудержимого хохота: на плетневом колу у плотины торчала козлиная голова, вылепленная из грязи и как две капли похожая на голову мельника — с бородкой, с белыми глазами, с оттопыренными ушами, да вдобавок рожки торчали.

Выскочил мельник, палкой разбил голову и, весь трясясь, пошел жаловаться к извозчику.

— А?! Что смотришь!.. — кричал он, тряся бородкой и брызжа злой слюной. — Это что такое, ославил на всю слободу! Какой я козел?.. К уряднику пойду жаловаться, к приставу, до губернатора дойду, в сенат подам. Нет таких прав, чтоб щенки над старыми надсмехались, над старыми людьми при всем чест-

ном народе...

— Ну ладно, иди себе... — сказал извозчик, глядя в землю.

Старик ушел, ругаясь и грозя.

Извозчик собрал кольцами вожжи и сказал глухо:

— Гаврилка, иди сюда.

Мальчик, трясясь, забился на сеновал. Хозяйка кинулась к мужу:

— Ой, не трожь! Глянь-кось на себя, лица на тебе нет. В другой раз поучишь...

— И впрямь кабы не убить. Возьми вожжи.

Потом подошел к бочке и вылил себе на голову два ведра воды. Пригладил волосы.

— Гаврилка, иди сюда, иди, не трону.

Мальчик подошел. Долго и молча шли. Прощли слободу, вышли на церковную площадь.

— Дома учитель? — спросил извозчик у сторожа.

— Дома.

— Доложи об нас, дело есть.

— Ничего, идите на крыльцо, там стряпуха скажет.

Вышел учитель, худой, рыжий.

— Что скажете?

— До вас, до вашего совета.

— Что такое?

— Вот не знаю, что с хлопцем делать. Балуется, от рук отбился. То змеев нанесет дохлых, над отцом навешает, а то глаза зачнет рисовать, куды ми глянешь, глаза ды глаза, а то голову слепит козлину, ну точь-в-точь наш мельник, а народ обижается.

— В школу надо отдать.

— Не из чего, не из чего отдавать-то. Осенью сын старший уходит, без работника останусь; сами знаете, какие наши недостатки. Кабы отдать его в мастерство какое. Ежели вы слово только скажете, всяк возьмет — и сапожник и кузнец.

— Так зачем же к сапожнику. Рисует, говоришь?

— Так глаза сделает, ночью снятся.

Учитель подумал.

— Ну, так вот, иконописец есть у меня в городе знакомый. Он же и вывески пишет. Вот к нему и отдай; если склонность есть к рисованию, выучится, зарабатывать будет лучше, чем сапожник.

— Сделайте милость.

Через неделю Гаврилка уже работал в мастерской иконописца.

Мастерская была маленькая, с низким черным потолком комнатка, вся заставленная стругаными, покрытыми грунтом досками, которые готовились под иконы, и готовыми иконами. Тут же стоял верстак, валялись инструменты, кисти, пахло клеем, красками и лаком.

Мастер был плешивый, в очках, и большой пьяница. В других комнатах шумела детвора, — большая семья была.

Гаврилка быстро освоился и через месяц уже копировал иконы. Мастер держал его за работой с утра до ночи, передохнуть не давал и жестоко наказывал за малейшее упущение.

Как-то принес ему икону Георгия Победоносца и велел скопировать шесть штук, а сам ушел и запил, целую неделю не приходил.

На беду, должно быть, ребяташки утащили икону, с которой надо было копировать. Гаврилка в отчаянии день проплакал, нет как нет, не с чего рисовать.

На стене криво висело засиженное мухами

зеркало. Глянул в него Гаврилка, и вдруг его осенила мысль. Схватил загрунтованную для письма доску и стал торопливо рисовать Георгия Победоносца, глядя на свое лицо. К танцу недели были готовы все шесть рисунков.

Пришел хозяин, хмурый, разбитый и злой, и всё кряхтел, разбираясь в мастерской.

— Ну что, готово? — спросил он.

— Готово, — весело ответил Гаврилка, подавая свою работу.

Хозяин взял, глянул, сделал широкие глаза, протер их, надел железные очки, опять поглядел, отодвинув рисунок, и вдруг побагровел:

— Да ты что же это? А?! Ты что же это свою поганую морду вздумал рисовать? А?..

— Дяденька, ребятишки куда-то икону дели, искал-искал, так и не нашел...

— А-а, так ты так!..

Гаврилка больно был наказан, проплакал всю ночь и думал, уткнувшись в подушку и глотая слезы: «Ладно, ежели бы в деревне, я бы набил змей, всю мастерскую бы ими устлал... То-то бы ты повертелся...»

Наутро мастер велел Гаврилке, собираться

и отвез его в деревню к учителю, который порекомендовал мальчика.

— Как хотите, не могу держать такого. Поглядите, чего он наделал, — везде свою морду понарисовал.

Учитель взял рисунки, поглядел и весело рассмеялся:

— Ну, Гаврилка, не беда, не горюй, из тебя будет толк. Надо, брат, только учиться, из тебя выйдет отличный художник.

Гаврилку на казенный счет определили в школу рисования. Потом он уехал учиться в академию, потом за границу.

Прошло много лет. К хате, что стояла над ставом, подъехал с вокзала человек в широкополой шляпе, с бледным лицом и в золотых очках. Это был известный художник Гавриил Иванович Оскокин.

Поговорил он с обитателями хаты. Это были новые люди. Они тоже занимались извозом. Отец и мать художника умерли. Иван женился и перебрался на Кавказ. Сестры вышли замуж и уехали в другие деревни.

Вспомнилось художнику детство и показа-

лось таким милым, таким светлым и далеким. Захотелось закрепить его, пожить воспоминаниями о нем.

Он достал краски и стал писать. И на холсте, как воспоминание о невозвратном прошлом, проступала хатка, белым пятном отразившаяся в неподвижной, неуловимой глазом воде, в которой голубело далекое небо, и опрокинутые старые-престарые вербы, и желтый осыпающийся обрыв, и темная плотина.

Эта картина потом побывала на выставках, и перед ней постоянно толпилась публика, потому что веяло от нее тихими ласковыми воспоминаниями о невозвратном.

1914 год

Весёлый день

Последнее время на этом участке фронта в верховьях Дона стояло затишье. И вдруг на рассвете после тяжелой темной ночи раздался залп фашистской артиллерии. Второй, третий, — и пошла потрясающая пальба.

Что это! Наступление?.. По нашей линии всё напряглось в ожидании, в приготовлении к отпору. Всех — и бойцов, и командиров, и артиллеристов, и минометчиков, — всех, кто ни находился на линии фронта в окопах, в дотах и дзотах, и в тылу, поражала ничем не объяснимая вещь: фашистская артиллерия бьет не по нашим укреплениям, не по нашим огневым точкам, а по чистому полю, бьет по голому полю, которое раскинулось между нашей и вражеской линиями. Поле — пустынное. Кое-где темнеют голые кустики да виднеются небольшие ложбинки, а в них и котенок не спрячется. Но с потрясающей силой бьет фашистская артиллерия в чистое поле как в копеечку. Гигантские глыбы черной земли страшной тяжестью взлетают в черных облаках дыма и пыли, и после них зловеще ды-

мятся глубокие провалы. Поле разворочено, как будто плуг нечеловеческой громады прошел по нему.

Бойцы безбоязненно высовывались из окопов, с изумлением оглядывались друг на друга:

— Да что за черт!

— В чистое поле как в копеечку...

— Это же денег стоит...

— Фриц сбесился!..

— Без ума жил, с ума сошел.

— Рехнулся...

Бойцы ничего не понимали.

Долго враг бил по пустому месту, разворачивая всё новые места на чистом поле, долго глядели и удивлялись бойцы.

...Прошлая ночь была черна и туманна. В этой тьме стоит тишина одинаково над нашими и немецкими окопами. И одинаково прислушиваются в тех и других невидимые часовые. Да вдруг посыплется во тьме пулеметная очередь или высоко вскинется ракета, осветив мертвенно-голубоватым светом дымчатый туман. И опять — мутная тьма; ни звука.

В глухом, не выделяющемся во тьме блиндаже судорожно шныряют по стенам уродливо дрожащие тени от коптилки. Командир говорит:

— Между нами и немцами стоит наш неповрежденный танк. В нем лежат погибшие товарищи. Кто-то из них с автоматом в руке открыл люк: видимо, хотел стрелять по немцам. В открытый люк влетела граната подбравшегося врага. Наши товарищи все от взрыва погибли. Немцы не стали бить из пушек по танку, всё надеются целым приволочь к себе. Мы тоже не разбиваем, всё надеемся возвратить, опять будет служить нашей Красной Армии. Товарищей, павших смертью храбрых, с честью похороним. Надо его доставить, не вызвав оружейного огня. Нужно послать человек десять — пятнадцать. Надо вызвать добровольцев.

— Товарищ Якименко, поговорите с бойцами. Да чтоб не курили...

Якименко вышел, осторожно притворив дверь. Тени судорожно бродили по стенам. Командир, опершись подбородком на руки, глядел красно набрякшими от бессонницы

глазами, не мигая, на разложенную по грубо сколоченному столу карту. Минут через десять бойцы толпой осторожно протиснулись в дверь.

— Ну, подобрались?

— Вот пятнадцать человек бойцов пойдут.

Выступил совсем молоденький, с озорными глазами, боец. По лицу бегали тени.

— Товарищ командир, разрешите доложить?

— Ну?

— Я доставлю танк. Мне не нужно этих пятнадцати. Куда такую ораву! Всё равно катить такую махину не сдюжаем, а суматоху наделаем на всю округу.

— Так чего же тебе? Один, что ли?

— Двух товарищей, шоферов, разрешите, товарищ командир, взять.

Командир поднял отягченные веки, тяжело посмотрел на него:

— Как только заведете, заревет немецкая артиллерия, сейчас же разобьет, — под самым носом ведь у них, и пристрелялись.

— Нет, товарищ командир, тишина будет нерушимая.

— Как же это?

— Разрешите доложить, когда выполню задание.

Командир подумал.

— Ладно, ступай. Ответственность на тебе.

— Есть ответственность на мне.

Трое вышли и потонули в недвижимой мгле. Человеческого дыхания не было слышно. Не зашелестит помятая трава, — всё тот же непроницаемый мрак. Трое осторожно, по-кошачьи, ступали согнувшись или ползли на брюхе, останавливаясь и прислушиваясь — беспредельный мрак, океан молчания. Но пробиравшиеся бойцы знали: в этой беспредельности — напряженное внимание. И вдруг вспыхнет мертвенно-голубоватым светом ракета, посыплется короткая пулеметная очередь. Трое бросаются на землю и лежат не шелохнувшись. И опять тьма...

Они скорее почувствовали, чем увидели, черный сгусток среди ночи. Ощупали: да, танк. Сдерживая дыхание, один влез в танк. Пахнуло могильным холодом. Вывернул в моторе свечи. Теперь компрессии не будет, мотор не заведется, не заревет. Потом включил

задний ход, — невидимой пушкой танк глядел на невидимые вражьи окопы. Потом вылез и вдвоем взялись за заводной ключ, стали тихо и напряженно проворачивать вал мотора. И танк неосяземо двинулся задом от окопов, но так неуловимо, как будто, не слушаясь ключа, стоял на месте в молчавшей темноте. А те всё так же медленно и напряженно крутили, задерживая дыхание, и горячий пот бисером проступил на лбу. Когда сердце больно стало стучать, один переменялся, и так же беззвучно медленно стали крутить. Если бы посмотреть на танк днем, его движение было бы так же неуловимо, как движение минутной стрелки часов, которая, кажется, стоит на месте. И всё покрывала ночь своей непроницаемостью.

Как ни незаметно, ни неуловимо двигался танк, к рассвету, когда едва обозначились края черных туч, он дополз до нашей позиции. Юнец с озорными глазами явился к командиру:

— Разрешите, товарищ командир, доложить?

— Ну говори, говори. Как?

— Задание выполнено. Танк доставлен целым и невредимым.

— Как же это вы ухитрились?!

Боец рассказал.

— Молодцы ребята! Будете представлены к награде. Только он это сказал, на вражеской позиции грянул артиллерийский залп. Потом еще, еще.

Все засуетились.

— Наступают, что ли?

Прибежал запыхавшийся боец:

— Дозвольте доложить, товарищ командир. Артиллерия ихняя бьет не по окопам нашим, а по пустому месту, где стоял танк. Всё место изрыли.

Командир вышел, стал смотреть в бинокль. Залпы сотрясали поле.

— А ведь сбесились!..

На другой день наша разведка привела двух языков. На допросе они согласно показали: когда утром совсем рассвело, немцы глянули, ахнули: танк исчез. Немецкое начальство сейчас же арестовало часовых. Стали ломать голову, куда же делся танк. Уехать на нем не могли: мотор бы ревел, гусеницы бы

лязгали, поднялась бы тревога. Откатить на руках не могли: такую махину не сдвинешь. Взять на буксир тоже не могли, буксир поднял бы рев. Долго ломали головы. Один из офицеров сделал предположение, единственно приемлемое: русские — хитрый народ... они просто замаскировали танк. Поле местами покрыто кустарником, кочковатое, в ложбинах. Русские подкопали танк, он опустился. Сверху накидали земли, натыкали кустов, и танк исчез. Начальство немецкое приказало обстрелять из орудий поле, где можно было предположить замаскированный танк, чтобы обнаружить его. Заревели орудия.

Когда наши бойцы узнали, как опростоволосились немцы, грянул такой ядреный хохот, что поле опять задрожало: хохотала пехота, хохотали артиллеристы, хохотали минометчики, улыбались командиры. Веселый был день.

1943 год

Юная армия

Курмаяров идет по большаку. Шаг в шаг поскрипывает снег. Сумерки тихонько садятся на придорожные кусты, на чернеющие деревья. Одна за одной зажигаются морозные звезды, робко моргая.

Большак круто перегибается в глубокий овраг, на мост. Там тоже смутно белеют снега. Оттуда доносятся голоса, ребячий смех. Курмаяров подошел, присел на ствол срубленного дерева. Говор и смех стихли. Ребята стояли молча, искоса поглядывая на него. Вокруг в беспорядке стояли пустые салазки. Ребятам — от одиннадцати до четырнадцати лет, мальчики и девочки.

После некоторой паузы один сказал:

— Думал-думал я и удумал: подстрелить фрица из пистолета нельзя — услышат, сбегутся, вот тебе и карачун, а...

— Да где ты пистолет возьмешь! — с азартом прокричал самый маленький, размахивая руками.

— Фу, да у дяди Вани скрал бы! Да слышать выстрел, и на морозе порохом воняет.

— Как же ты сделал?

— Я-то? Обманом взял. Сделал сагайдак, приготовил три стрелки, а в конец воткнул по гвоздю, конец остро заточил. Потом пошел искать место. В овраге у самого обрыва — старая верба, а в ней здоровое дупло, как ворота... Ну я...

— Знаем, знаем! — закричал маленький, оборачивая по очереди к товарищам разруганное на морозе лицо.

— Знаем! Ну? — дружно откликнулись мальчишки и девочки.

Историю с сагайдаком они слышали раз двадцать, но каждый раз выслушивали, как новую.

— ...а возле вербы тропочка — к колодезю в овраг фрицы за водой ходят. А вербу всю с дуплом, почитай, по самые сучья, здоровенным, с избу, сугробом завалило...

— Знаем, знаем! — опять радостно закричал маленький.

— Ты-то чего кричишь! Глухие, что ль?.. Ну рассказывай!

— Ну я гляжу: ежели полезу напрямик к вербе, разворочу сугроб, видать будет — кто-

то лез. Зачнут стрелять по вербе. Я по тропочке прошел на другую сторону обрыва да с обрыва и сиганул в овраг. А в овраге ветром намело снегу — лошадь утонет. А я по дну, под снегом-то, поперек оврага ползу до самой до вербы. В рот, в нос, за шиворот набилось снегу, за рубахой, аж дрожишь. Ну руку просунешь в сугроб, дырку сделаешь в снегу и смотришь: тропочка-то, по которой ходят фрицы, вот она, под самым носом, а меня не видать, а снег-то сверху ровный, нетронутый, никто и не догадается. Просидел так часа два, глядь в дыру — фриц идет в маминой кацавейке да в соломенной обуви.

— Эрцац называется.

— ...а на голове мамин платок...

— Ни мужик, ни баба!

Все захохотали.

— Ну?

— Ну я тихонечко просунул конец сагайдака в дыру, навел ему в глаз да спустил тетиву...

Охнули все...

— Промахнулся?..

— Ды он, сатана, как раз повернул голову,

высморкаться хотел, а стрела прямо ему в нос гвоздем. Он аж подскочил! Тронул нос, а на пальцах кровь. Как заревет бугаем и пустился назад, ведро бросил, за нос держится.

Хотя и в двадцатый раз слышали всё это ребята, но громко хохотали. Девчонки визжали в восторге.

— Прибежал фриц назад, а за ним пять фрицев с автоматами. Глянули, а на этой стороне, где я из кустов сиганул в снег — весь снег взбудоражил кто-то, и начали стрелять из автоматов по кустам на тот край оврага, и только я слышу: «Партизан!», «Партизан!». А у этого, в которого я стрелял, на носу пластырь наклеен.

Все опять радостно захохотали, захолопали в ладоши. Потом замолчали.

Стояла ночь, и звезды лучились, и снега неузнаваемо и слабо белели.

К Курмаярову подошел мальчик постарше и спросил юношески ломающимся голосом:

— Ты куда идешь, гражданин?

Ребята толпой обступили.

— А тебе что?

— А то, неизвестных надо ловить и достав-

ЛяТЬ.

— А тебя кто уполномочил?

— Документы у тебя есть?

— Есть.

— Покажи!

— Вот приду в деревню, кому следует — покажу.

— А ты в какую деревню идешь?

— В Овражную.

— Да это наша деревня!..

— Вот и хорошо.

— Ну пойдем, гражданин.

Они взяли веревочки от салазок и пошли, тесно окружая Курмаярова, осторожно поглядывая на него, волоча за собой салазки.

«Вот странное положение, — радостно подумал Курмаяров, — ребяташки меня арестовали, никогда бы этого себе не представил», — и так же радостно прятал улыбку в усы.

— Вы, что же, всех так арестовываете, кто идет по дороге?

— Зачем всех? — сказал старший. — По дороге ходят из нашей же деревни либо из соседних, а мы всех их знаем. А как незнако-

мый, да чужой, да еще ночью, — тут уж держи ухо востро.

Некоторое время лишь скрипели по снегу шаги и салазки повизгивали на раскатанных местах. Ребятишки всё так же тесно шли кругом, поглядывая на Курмаярова.

— Ну как же вы караулите? Чай, храпите ночью — ходи кто хочет!

— Ишь ты, накось выкуси! — протянул старший кукиш. — Караулы ставим. Ночью — возле нашей деревни, в овраге, на мосту, — его не обойдешь, а днем — в лесу, возле поляны.

— Почему такая разница ночью и днем?

— Как же? Ночью с парашютом не спустишься на поляну: не видать с самолета, одинаково темно и над лесом, и над поляной. Сядешь в черноте и на сосну, а сосны у нас высокие и снизу стоят без веток, по ним и не слезешь — убьешься. Вот они только днем...

Ребятишки возбужденно закричали всей толпой, размахивая руками:

— Они спустились, а мы их поймали.

— Да били дубинками! — звонким голосом закричал торопливо маленький, боясь, что

его перебьют. — Одному голову разбили, а другому глаз.

— А он скривел! — закричали девочки.

— А они закопали в снег парашюты и автоматы, которые на шее были подвешены, чтоб не знали, что они спустились.

— Куда же вы их дели? — спросил Курмаяров.

Ребята опять дружно закричали:

— А мы их связали и в сельсовет представили.

А у них пистолеты оказались и шашки для взрывов. Они бы нас застрелили.

— А они одеты по-нашенски и говорят по-русски.

Дети вдруг-замолчали и шли, глядя в темноту. Поскрипывали шаги. Звезды слабо брезжили, и оттого, что слабо, — мрачно чернели остовы труб и разрушенных печей: домов не было. И почему-то особенно гнетуще было то, что и снег кругом мертво проступал, как уголь, и деревья чернели обугленно.

— Вот наша деревня, — тихо сказал самый маленький.

Курмаяров спросил то, о чем не решался

спросить раньше:

— Дом против школы уцелел?

Ребятишки дружно ответили:

— Это Марфы Петровны-то? Нет... И печей не осталось.

— Марфу Петровну повесили, а дочку ее в Германию угнали.

Курмаяров шагал, опустив голову. И ребята, глядя исподлобья, шли молча, будто среди могил чернеющего кругом кладбища.

Один из них показал на огонек:

— Вот наша школа.

Среди кладбищенского покоя сгоревших жилищ вдруг приветливо мигнул огонек. Курмаяров вздохнул.

— Пойдем туда, — сказал старший. — Ишь, поганцы, маскировку не соблюдают!

И, помолчав, опять сказал:

— У нас на всю деревню один дом остался, в нем и школа и сельсовет, остальное всё сожгли. А этот, как наши бойцы ворвались, не дали.

— Как же вы живете? — спросил Курмаяров. — Холодно же...

— Так строится народ, шибко строится —

двенадцатый дом кончаем, — всем колхозом строим, коллективно, оттого и спорится. А из колхозов, которые за рекой — их немцы не занимали, — трех коров пригнали и помогают строить... Ну вот и пришли...

Девчата юрко взобрались по лестнице, а ребята строго оцепили вход вниз. Курмаяров подумал: «Молодцы ребяташки, боятся, как бы их „гражданин" не смылся за угол».

Вошли. Подслеповато курилась жестяная лампочка, а когда-то деревня освещалась электричеством. В холодном, застоявшемся воздухе плавал вонючий махорочный дым. Человек в ушанке, нагнув голову, с трудом писал на кухонном столе. Ребяташки привалились к столу, а двое остались у двери, прижав ее потуже.

— Ну что? — сказал человек в ушанке, не поднимая головы.

Ребята гурьбой прокричали:

— Вот гражданина на мосту словили, по дорогам ночью блукает...

— Документы? — сказал человек, всё так же не поднимая головы.

— Да то-то вот, не хочет показывать доку-

ментов! — закричали ребята.

— Документы! — сказал тем же ровным голосом человек в ушанке, опять не поднимая головы.

В вонючем махорочном дыму — молчание. Ребятишки стояли плотно кругом, каждую минуту готовые схватить Курмаярова за руки. Человек в ушанке наконец поднял голову и остолбенел. Запинаясь, сказал:

— Да... это... вы! А мы вас ждали на машине, всё прислушивались, нам по телефону сказали со станции.

Ребятишки стояли с открытыми ртами. Человек в ушанке засуетился:

— Сейчас всех соберем, все ждут. Я вас сразу узнал по портретам в газете и в ваших сочинениях. А вы садитесь, пожалуйста.

Курмаяров сел и увидел, что у человека в ушанке одна нога, а вместо другой — деревяшка.

— Ребята, это наш земляк, известный писатель, которого мы ждали.

— Ой! — всплеснула руками девочка. — А я думала: известные писатели — молодые.

Ребята испуганно загалдели:

— А мы его арестовали! Смотрим — своими ногами идет ночью по дороге. А известные писатели разве ходят? Они ездят на машине! А мы хотели сзади потихоньку зайти, повалить на салазки, прикрутить веревкой да привезть в сельсовет, а то, думаем, как начнет палить в нас из пистолета.

— Вот еще растрепы-то! — сердито сказал в ушанке.

— Да ведь ночь, а на морде не написано, кто он такой, — конфузливо оправдывались ребята.

Курмаяров слегка улыбнулся:

— Известные писатели непременно должны на машине ездить. И я ехал со станции. А машина сломалась. Не хотелось мне ждать, я и пошел своими ногами. Родные места поглядеть захотел...

Ребятишки облегченно засмеялись и захлопали в ладоши.

— Ну вот что, — сказал человек в ушанке, — гоните, всех собирайте, чтоб сейчас, минуты чтоб не упустили.

Ребят как ветром сдунуло.

— Ну я в суматохе забыл вам представить-

ся: я — новый председатель сельсовета. У нас работают все раненые бойцы из нашей деревни. Председатель колхоза — ему челюсть раздробило. Кушать может, а чтоб говорить, так на бумажке пишет.

Через двадцать минут большой школьный зал был до отказа забит колхозницами, школьниками и несколькими мужчинами: поправляющиеся раненые, старики и инвалиды.

Молоденькая комсомолка, с милыми конопатинками, открыла собрание:

— Товарищи, к нам приехал известный писатель, уроженец нашей деревни. Он приехал к нам...

— Пришел своими ногами, — дружно поправили ребята.

— Он еще мальчиком в царское время уехал из родной деревни учиться в Москву и с тех пор не был в родных местах, а теперь приехал... навестить родину...

— Пришел своими ногами... — опять упрямо зашумели ребятишки и девчата.

— Не хулиганить! — заревел председатель сельсовета.

— Слово нашему дорогому гостю, писателю Курмаярову.

Курмаяров оглядел всех потеплевшими глазами и обычным голосом сказал:

— Читали вы, товарищи, Тургенева «Бежин луг»?

Все удивленно молчали, переглядываясь.

— Помните ребят в ночном: они стерегли лошадей, а Тургенев подошел, — на охоте был, — подошел и слушал их. Чудесные ребята! Но разве их сравнить с теперешними? Те про антихриста рассказывали друг другу, а наши влились в громадную борьбу народов.

Ребятишки с загоревшимися глазами закричали:

— Да мы на все поля вывезли на салазках навоз, золу, птичий помет, фекалий, устраивали снегозадержание. Урожай во какой будет!

Пожилая женщина подала голос:

— Да как им, ребятам, не быть нынешними! Замучил зверь-немец! У ме...ня сы...сын...нок...

Она зарыдала.

— Мама, мама!.. Пстой!.. Я им лучше про-

Чту.

Тоненькая школьница шестого класса поднялась в президиум, достала измятое письмо и стала читать:

«...Мамочка, дорогая моя. Я тут много работаю, а ем меньше, чем даже в Курске, когда там с тобой под немцем были. Нас двое: Ване тоже четырнадцать лет, он с Украины. Один преподаватель собрался отсюда бежать, он отлично знает немецкий язык. Я отдал ему это письмо, не знаю, дойдет ли. Мамочка, я теперь тебе уже не кормилец. Хозяйка фермы, когда узнала, что ее муж убит на Восточном фронте, схватила топор и отрубила Ване руку, потом кинулась ко мне и выколола вилкой правый глаз...»

Девочка захлебнулась, слезы бисером покатались по ватнику. Пожилую женщину понесли на воздух.

— Да ведь что же это такое! — охнул зал, задыхаясь. — Силосную яму у нас немцы всю набили мертвяками.

Курмаяров опустил голову. У всех одно

большое горе, — горя реченька бездонная!
Глухо сказал:

— Спешил сюда... Матушку, сестренку обнять... — и чуть слышно добавил: — Обоих нет...

Из зала донесся голос:

— Матушку вашу, Марфу Петровну, замучили, а Ньюшу увезли, ироды.

— И у меня мать загубили...

— И у меня...

— А у меня сы-ы-ночка...

— Доченьку мою...

— У меня брата...

И вдруг все вскочили, все ринулись, валя скамейки, к президиуму. И голоса всех слились в один потрясающий голос мести и страстной, исступленной веры в победу.

— Будем работать, аж вытянем жилы! Будем работать, пока силы есть. Почитай, мы тут одни женщины и ребята — мужики на войну ушли, — но мы всё сделаем! Мы перервем глотку врагу!

...Курмаяров ехал на починенной машине и в темноте разглядел то, чего не видел, когда шел сюда: двенадцать новых домов, и среди

них один неоконченный сруб на почерневшем родном пепелище.

1943 год